

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДЕТСТВО В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Валентина Николаевна Аверьянова, в замужестве Арешкина, родилась в Сергиевом Посаде в декабре 1918 году, в семье игрушечника. Ее воспоминания относятся к периоду 1920-х – первой половине 1930-х годов. Они записаны в 1998 году Т.В. Смирновой.

«Каждого праздника ждали по-особенному. На Рождество елку ставили, со свечками. Игрушки у нас красивые были, покупные, из стеклянных бусинок. Меня Христа славить не пускали. А к нам любили ходить, привечали в нашем доме ребят-славильщиков. Часа в 2–3 стучат в калитку. А у папы уже на подоконнике монеты столбиками сложены – по две, три, пять копеек. И мешочки приготовлены с печеньем, с конфетами разными, побольше или поменьше, смотря как дела шли в том или ином году. Папа дверь откроет, и ребята начинают с порога Христа славить. Поют: “Христос рождается, славите...”. Кто больше знает, кто меньше. А кто еще какие стихи прочтет дополнительно. Группами ходили по два человека, по три, по пять. Со звездой. Звезду из бумаги цветной склеивали. А кто каждый год ходит, так из досочек, и бычьим пузырем обтягивали. Внутри свечка горит.

И елка вся в огоньках. Так было хорошо, так весело! Даже когда елку запрещали, славить приходили. Тайно ставили.

Славить больше бедные ребята приходили. У меня сердце даже замирало. Одеты плохо, на каком и пальто со взрослого надето. Я прошу: “Папа, побольше дай, смотри, какой он!”.

Папа мой был кустарем, игрушки делал – собак, кошек, зайцев. Мягкие игрушки. Я помогала. В пять лет палец на машинке прошила – зайцу уши пришивала. Я единственная дочка была. Папа организовал артель “Единение”, потом она стала фабрикой игрушек. А он из артели ушел, опять игрушки стал дома делать. Лавочка у нас была. Целый ряд лавочек стоял от

Пятницкой башни к Красногорской площади. Когда НЭП кончился, палатки эти стали постепенно закрывать. Дольше всех Шишкин держался, дядя Миша. Канцелярскими товарами торговал.

На Крещение кулачные бои были на Белом пруду и на Кукуевке – городские с кукуевскими бились. Я сама не видела – папа рассказывал. Он веселый такой приходил с боев. Потом с конной милицией стали запрещать. Говорили, что это пережиток старого, купеческого. У Кустодиева картина есть “Масленица” – думаю: это наш город изображен. С Вокзальной ехали, заворачивали на центральную улицу – Московскую. А сани-то полированные, да с инкрустацией, а то расписанные. И дуги, расписанные или резные, с колокольчиками, с бубенчиками. Бубенчики от самого маленького, с ноготок, до самого большого, медные, начищенные, блестят. Ленты и к дуге, и к гриве привязаны, на головах у лошадей кокарды. С пологом ездили – у кого меховой, а больше плюшевый, мехом отороченный. На лошадях попоны с кистями. Люди все нарядные. Женщины, девушки в шالях, огромных, с цветами, а то – в клетчатых. Лица яркие. Мужчины больше в шапках каракулевых, пирожком. Молодые в картузах добротных, драповых.

Так мчались, так мчались: с песнями, с гармошками, со смехом... У кого своя лошадь, а кто извозчика наймет. У извозчиков тоже на масленицу и сани, и лошадь изукрашены. Извозчиков-то было в Сергиевом Посаде неисчислимо – от вокзала проходу не давали. Помню: мне девять лет было, а подружке Тане – семь. Нас отпустили смотреть катанье. Публики стояло за коновязью – пушкой не пробьешь. Длинная такая коновязь была вдоль дороги, это где рынок у Пятницкой. Сани несутся, снег так и брызжет из-под копыт! До булыжника снег бывало перемесят. Папа тоже как-то нанял извозчика, усадил меня с подружкой в сани, покрыл пологом. Помчали кони! Мы сначала испугались немного, а потом осмелели. Какая это была радость!

Еще в 1929 году катанье было на масленицу.

А блины начинали запекать в понедельник, но пока не в каждом доме и еще как-то неторжественно, вяло. А со среды – на всю широту, по-праздничному. У каждой хозяйки свои рецепты. Некоторые их в секрете держали. Ели блины со сметаной и с молоком – и в окунку, и в прикуску, и со сметками, и с икрой разных сортов. Была икра и очень дешевая. Кто уж совсем бедно жил – соседи блинов принесут, и молочка, и сметанки, и еще чего. Шел праздник не без рюмочки, но пьяных не было видно – меру знали, да и закуска была хорошая.

Веселился народ ото всей души. И никто эти праздники не организовывал – все стихийно. Это-то и было хорошо.

В Вербное воскресенье все в церковь шли. Сейчас с вербой в церковь ходят, а тогда из церкви вербу несли. Мы в Ильинскую ходили. Там внутри, в переходе, прямо огромный куст вербы стоял. После службы раздавали ее, кому сколько достанется. И надо было эту вербочку со свечкой горящей до дому донести: сколько старанья было! И неопишуемая радость, если огонек не погас. Мне папа потом купил фонарик. Я свечку в фонарик ставила. У кого погаснет, просят: «Дай зажечь!» А как дать? Откроешь фонарик – и моя свечка погаснет. Какая-то торжественность в этом была.

А на Пасху... К ней заранее готовились. Пост ведь и перед Рождеством был. А вот перед Пасхой как-то особенно ярко пост помнится. Папа на Пасху студень варил, мама пироги пекла. Огромный окорок тестом обмазывали и в русской печи запекали. Гуся делали. Куличей штук пять – это на семью в три человека. Пасхи – от маленькой до огромной.

Папа доставал специальную краску пищевую, яйца красить. А потом ее не стало. Какую-то другую покупали, плохую – в яйца проходила. Ее почему-то фуксином называли. Фуксин ведь малиновый?.. А она разных цветов была. Вот луком не красили. И на Троицу тоже красили яйца в разные цвета. Катали яйца на Пасху и во дворе, и перед домом, и к Никольской церкви ходили, на бугры. Там и хороводы водили. На гулянье приходили группами. А катали на деревянных лотках – неглубокие такие желобки в доске, разной

длины, разного цвета. Были лотки полированные. Их в Сергиевом Посаде продавали. С одной стороны приставочка. А место выбирали, чтоб наклонное было – маленькую горочку. Каждая группа себе местечко находила, где травка зеленая, низкая. А то еще стукали яйцо об яйцо. И еще была игра – в лоб стукать яйцом. Не помню уж, в чем та игра состояла...

На Троицу с такой радостью мы ходили в церковь. В Ильинской было так торжественно и красиво. Церковь была переполнена людьми. Детей особенно много. И все с букетами. А после освящения цветы домой приносили и ставили их возле икон, хранили целый год. И у кого скот был, часть этого букета клали в сено, чтоб его не ели мыши. Такая была примета.

На Троицу ходили на кладбище. На Кукуевском было как бы гулянье. Возле входа палатки со сладкой водой, конфетами, печеньем. Кто на свои могилки ходил, кто просто гулять. А после обеда уходили на бугры за Келарским прудом. Прыгали, играли, хороводы водили, песни пели. Раз на Троицу самолет там сел, у Никольской церкви. Весь город сбежался. Ребят катали на самолете. Я не решилась, а Лида Телицына осмелилась. Мы ей потом безумно завидовали.

Вечером возле домов играли. Вдоль улицы перед праздником березки ставили, наряжали их ленточками. А в домах на Троицу украшали иконы зеленью – ветками березы, клена, липы. И у порога мама клала вместо коврика осоку.

На следующий день после Троицы – в Духов день – мы на Никольское кладбище ходили. Там могилки наших родных. Священники панихиды служили. И все их зазывали: “К нам, к нам!..”. Одаривали гостинцами и священников, и друга. Все знали, что в этот день надо помянуть умерших.

Возле домов мы играли в прятки, в догонялки, чижик, лапту, лунки. Лунки эти досочкой закрывали, чтоб землей их не засыпали. В кости еще играли. Из бараньих лодыжек кости. Сначала подкинешь кость, а остальные надо по одной схватить, потом по две, по три... В мяч были разные игры, в классики. Мужчины в городки весной играли. Сейчас этих игр нет почти.

Как бугры высохнут, мы за сморчками ходили в липовый лес. Листья старые разгребали и собирали. Сколько их было! Потом за земляникой! На нашей улице жила Татьяна Алексеевна Корнева. Она во все дела вникала. Ее вся улица уважала и слушала. Она команду давала: «Пора за ягодами идти». За земляникой ходили и мамы, и дети. Смеялись, играли, бегали... А за малиной мама ходила с соседками, меня не брала – далеко. Они в Малинники ходили с ночи. Ведрами малину приносили. И варенье варили, и сушили, и с сахаром в погреб ставили.

А к осени за рыжиками! Смотришь, среди ельника полянка песчаная и вся желтая. И ходить не надо. Сядешь и ползаешь. Каждый набирал в свою корзиночку или ведерочко и высыпал в кучу. Горы рыжиков набирали! Потом кто-нибудь из ребят бежит домой, зовет родителей. Те приходят с большими корзинами. Рыжики солили и мариновали. Самые маленькие – в бутылках.

У нас был большой участок у дома – 35 соток. Половина травой зарастала. Высокая была трава. И два пруда было. Чистый – мыться, посуду мыть, корову поить. И поганный – там белье полоскали. А для чая и обеда воду с водокачки носили. На коромысле приятно так нести.

В огороде сажали много всего. Первый овощ был огурец. Лук сажали, много гороху – отменный был горох. Мы помидоры сажали. Ими мало кто занимался. У нас очень близко подпочвенные воды были. Потому грядки делали высокие. Что можно – свеклу там, морковь, лук-чернушку сажали с осени. А весной в межу не войдешь – жидкая грязь. Клали тоненькие досочки. Меня мама лет с трех брала за шиворот, за платишко и на досочку ставила. Давала прутик: делай “Ты носицом вниз сажай”, – велит. Под взрослым-то доска прогнется, а я легонькая... Лейку большую мама не разрешала поднимать. У меня маленькая была. А так хотелось из большой поливать.

Была у нас одна чудо-яблоня. Все мои подружки ее помнят. Росла, как куст – в семь стволов. И на каждом яблоки разного вкуса. У людей через год

яблоки, у нас – каждый год. Всех одаривали. Во время финской войны яблоня замерзла. А у соседей была огромная липа. Ее спилили, и пень оброс молодыми липками. В этом пне жила семья ежей. Вот яблоки начинают падать. Идешь в сад – слышишь: храпит здоровый мужик. Подойдешь, а под яблоней лежит на спине еж, раскинув лапки. Спит и храпит. Он большой был, наверно, старый. Возьмешь веточку и пощекочешь его по животику. Встрепенется, взглянет и побежит. И катался на яблоках. По пять–семь яблок на колючки нацепит, убежит под забор и возвращается уже без яблок. Я ему яблоки нарочно в кучку собираю. Он не боялся. Покатается, нацепит опять яблок на колючки. Был уже как свой, как родной человек. А то с ежишкой приходил и с крохотными ежонками. Они тоже по яблочку уносили. Я с ним, как с человеком, разговаривала, а он похрюкивал.

Сено мы на своем участке для коровы накашивали. У Корневой барометр был. Вдруг она кричит со своего крыльца соседкам: “Нужно сено начинать косить! Барометр идет на “ясно” – как раз успеем”. Утром слышно – все косы отбивают. Многие к моей маме ходили – она хорошо умела отбивать. 120 пудов накашивали – два воза. На корову хватало, излишки мама отдавала. Земля была унавожена, да тимофеевку с клевером подсекали. А картошку у нас мало кто сажал – она дешевая была.

Еще росла у нас береза такая большая, что два человека ее не могли обхватить. А рядом липа. У нее ветки опускались до земли. Получалось, как беседка. Мы, девчонки, там жили. И еще была рябина. Ветки росли как-то без наклона, и я сделала там себе шалаш. Мы там уроки учили. В войну все три дерева пришлось на дрова спилить. Было потом так странно смотреть на наш сад. Очень грустно было.

Еще летом, на Казанскую, была в Посаде ярмарка – карусели, гигантские шаги, качели, кольца... Цирк приезжал. Всякими сладостями торговали, игрушками, лентами. Люди ходили на ярмарку семьями. А вечером – гулянье: от кинотеатра до Переславки и обратно. Так кругом и ходили. Дети – впереди. Встретятся со знакомыми – остановятся,

поздороваются. К этому дню наряды шили – себя показать. Из деревень чего только на ярмарку ни привозили! Вozами везли и соленье, и печенье, и жареное, и вареное.

Коля Барченков (Николай Иванович Барченков, народный художник России –1918–2002 – Т.С.) базар нарисовал почти пустой. Наверное, он его очень поздний помнит. А в двадцатые годы базар был – не пройдешь! И голубей столько! И сколько их за день передают! На базаре весы большие были. Это у входа в парк. На них вoзы с товаром въезжали. Свалют потом сено или овес, или что там, а телегу взвесят.

Яблочный Спас отмечали не как сейчас. Сейчас каждый несет в церковь яблоки. А раньше вoзами их закупали. Всегда красивые, яркие. А после освящения батюшка раздавал верующим. Детям по два-три яблока, а кто победнее, тому и пяток. Ребята некоторые по несколько раз старались подойти. И с такой радостью с этими яблоками домой неслись! У нас дома были яблоки, но эти вкусней.

Ближе к осени мама за опятами ходила, меня не брала. Их сушили, или мама жарила в топленом масле и в банках маслом заливала. Сантиметра полтора-два слой масла. Ставили банки в подпол и по торжественным случаям вынимали баночку, варили картошку. Это шикарно было. Про маму говорили: “Вот выдумщица!”. Солили в кадках рыжики, чернушки. А маленькие рыжички мариновали в бутылках и сургучом запечатывали.

Осенью все запасали впрок. Убирали овощи на огороде. Картошки сажали тогда в городе мало. Ее из деревень привозили на продажу. Торговались насчет цены – каждый год цены были разные. Хранили картошку в подполе. Но у нас близко грунтовые воды были, так что весной картошку подтапливало. Мама моя очень хорошо огурцы солила и капусту квасила. Капусты у нас на семью из трех человек заготавливали две двухсотлитровые кадки. Они в сарае стояли, в яме. А кадки с огурцами в коридоре стояли, и огурцы никогда не замерзали – так их мама укутывала. Со всего Посада к нам приходили, просили продать огурчиков, капусты тем, кто

болеет. Мама никогда не продавала. Наложит огурцов в кастрюлю, в миску, а то и в полу. И меня посылала с бидончиком – капусты отнести. Я и к Флоренским носила, когда Павла Александровича уже посадили.

Мочили всегда две-три банки брусники. Клюкву тоже заготавливали, но не так много. Тогда не консервировали, а варили много варенья. Из яблок варили, из малины, клубники, из лесной земляники – мое любимое, – из крыжовника, смородины. Никогда у мамы варенье не прокисло, не засахаривалось.

Поздней осенью запасали рыбу, больше карпа (мама говорила – карпию). А я больше всего любила карасей прудовых. Рыбу привозили в рогожах, мороженую. Зимы тогда были хорошие, устойчивые, не как теперь. И рыбу хранили всю зиму в чулане, в кадках и рогожных кулях. И щучки там попадались, и подлещики. Посты тогда соблюдали, так что рыба была нужна обязательно.

На нашей улице у всех пруды были – разводили гусей, уток. Осенью их резали и вешали на чердаках. И баранов резали и тоже вешали. Они дешевые были. Отрубали кусками по необходимости. Так что жизнь получалась экономная.

Мы, пока сухо было, на улице играли – в прятки, в чижику, в лунки. Просто сидели на лавочке, разговаривали, пели, хохотали. А на Кукуевке и на Штатной – гармоника, пляски – русская, елец, барыня... Частушки!

Осенью девочек сажали за рукоделия. Вязали кружева крючком. Тогда комбинаций не было, были рубашечки. К ним кокетки кружевные вязали и еще медальоны круглые и ромбами, вшивали их в белье. У наволочек углы вывязывали, иногда и середину. Подзоры к кроватям у всех были кружевные. И на спинку кровати подзор вешали. Еще скатерти вязали. В каждой семье две-три скатерти было. И белые, и цветные. Ели на кухне или в столовой на чистом столе или на клеенке. К празднику стол скоблили ножом. А в зале – стол со скатертью. Скатерть всегда нарядная, иногда кружевная, иногда вышитая или цветная льняная.

Вышивали. Старались друг друга перещеголять – доставали особые рисунки. Вышивали “ришелье” кокетки к рубашечкам, шторы. Крестом – кофточки, полотенца. Носки, чулки вязали на спицах. Все вечера были заняты. Пока электричества не было, с керосиновыми лампами сидели, с семилинейными, а кто побогаче – с десятилинейными. Лампы были висячие, как люстры, и настольные. Были обыкновенные, а были очень красивые. Когда электричество появилось, его экономно разрешали жечь. Кто посильней лампочку вкрутит, штрафовали.

А на демонстрацию в Октябрьские праздники мало ходили – историей народ не интересовался.

В первый класс я пошла в Красную школу, потом она школой имени РККА называлась, а теперь там гимназия. Форму тогда не носили. Но все равно мне папа купил коричневое платье, только фартучка не было. Купили ранец – не на спину, а с ручкой, дерматиновый, боковинки деревянные. И пенал – светлый, лакированный, с задвижной крышкой. В нем отделения для ручки с пером, карандаша, резинки. Для перьев делали мы вытиралки: сшивали суконные кружочки, побольше–поменьше, краешки с бахромой, а сверху басонная пуговица из ниток и еще петелька, чтоб удобней брать. Вытиралки были разноцветные. Потом они, конечно, чумазыми становились. Чернила носили в стеклянной непроливайке, отдельно, в мешочке, носили. А в партах тоже были чернильницы – в специальные углубления вставлялись. Одна чернильница на двоих. Тетради мне у Шишкина купили – в две линейки, и в три, и в косую, и в клетку – для арифметики. Все удивлялись: “Откуда у тебя такие прекрасные тетради?” Потом и у Шишкина, в конце НЭПа, бумага стала хуже.

С собой в школу брали завтрак – бутерброд какой-нибудь. А в школе давали булочки и чай. Бесплатно. Кружки все приносили из дома. Стояли они в тумбочке. Каждый брал свою кружку. Я наливала сладкий чай – меня учительница к тумбочке “прикрепила”. И каждый брал булочку. Потом булочки отменили.

У нас дореволюционная учительница была – Прасковья Васильевна Корнева, настоящая учительница. А потом, в третьем классе, молодая учительница пришла, из новых. Меня невзлюбила. Третий класс я плохо помню.

С раннего детства папа покупал мне книжки. Целая стопка была дешевых изданий сказок Андерсена на тонкой бумаге. Потом были сказки братьев Гримм, с цветными картинками. Но из всех книжек больше всего помню сказку “Красная рукавичка”. Я ее у Тани Корневой брала. Книжка на толстой бумаге, почти на картоне. Там царство снежинок, снежный замок – весь блестит. На страницах голубые звездочки. И теперь, когда за окном идет крупный снег, я вся ухожу в сказку, вспоминаю эти картинки. И еще “Серебряные коньки” помню книжку. Сколько там доброго!

Когда я в пятом классе училась, директор школы Ваганов все школы в одну соединил. Пятых классов было семнадцать! Я училась в пятом “С”. И классы по сорок человек. Уроки в разных зданиях. Мы, как измученные зайцы, бегали из одной школы в другую. Вечно с мокрыми ногами. Ужас!

Учителя были больше старой закалки. Добрым словом их вспоминаю. По естествознанию был Шевалдышев, старый, интеллигентный человек. Мы у него сидели, открыв рот. Он не казенным языком рассказывал, а очень живо. Был учитель с какой-то птичьей фамилией – его все боялись. Сухопарый, черный, злой. Не дай Бог – дверь скрипнет. Идет по коридору – все разбегаются. Некоторые учителя исчезали. Весь литературный кружок исчез. Его вел Сергей Александрович Волков. Мы звали его СерВо. Он литературу блестяще преподавал. Меня звал “способным зайцем”. Году в 1934 или 1935-м все восемь человек из литературного кружка пропали. Один только не был арестован. Из восьми вернулись двое: Сережа Савицкий и Женя Мирский. Через десять лет. Волков как-то уцелел тогда.

Почти у всех девочек были альбомы. В них стихи друг другу писали и всякие пожелания. Альбомы эти запрещали тогда. У меня сохранился альбом тех лет. Подруг у меня было много. Но особый след в душе оставила Шура

Трубецкая. Дома ее Татей звали, а она это имя не любила. Знаете, к ней даже блатные мальчишки относились с нежным чувством. Она действовала облагораживающе. Была в ней какая-то кристальная чистота. И даже обормоты смотрели на нее, как на что-то святое. Она написала мне в альбом:

ВАЛЕ

*Когда мы будем жить в разлуке,
И ты не будешь знать, где я,
...Тогда возьми альбом свой в руки
И вспомни, кто любил тебя.*

Это она мне перед новым, 1934 годом, написала. Нам по 15 было. Почему она о разлуке написала? Через несколько месяцев Трубецких выслали в Среднюю Азию. Седьмой класс Шура не успела закончить. А в восьмой ее там не приняли. Она писала мне. Только ее письма сохранила...

Жили он бедно. Мама – Елизавета Владимировна – любила детей, но не хозяйка она была. Если есть деньги, купит детям сладостей. Шура говорила: “Нам бы лучше картошки, крупы...” В шестом классе у Шуры ботинки совсем развалились. Левый был привязан обыкновенным шпагатом. А я была членом учкома. И добилась, чтобы ей оказали помощь – ботинки купили. Сказала: “Я не знаю, кто такие князья. Знаю, что человек ходит с привязанным ботинком”. Принесла ботинки ей домой. А Шура и говорит: “Я не могу взять. Мне гордость не позволяет”. Я ее уговаривала, упрашивала. Поставила потом ботинки в сенях у двери и ушла. Дверь на улицу у них не запиралась. Может, их кто чужой взял. На ней я их не видела. Погибла она в лагере. В 1943 году. Я письма ее 50 лет хранила. Только ее письма. Недавно отдала Андрею Владимировичу Трубецкому. Она хорошо училась».